

# Весь Маурин

## Приключения Аделаиды Гюс

### Часть 1. Могильный цветок

#### Глава 1

Я, Гаспар Тибо Лебеф, пишу эти воспоминания в назидание молодому поколению. Я стар, много видел, много пережил, перестрадал, и теперь смерть так близко витает около меня, что по временам я даже слышу змеиное шуршание ее ласковых крыльев. Что же, я с тихой радостью жду свою последнюю гостью: в девяносто два года жизнь представляется далеко не таким благом, как в шестнадцать.

И одно только удерживает меня, заставляет цепляться за остаток дней. Ну, хорошо! Я умру — туда мне и дорога, одинокому, запоздавшему путнику; но ведь вместе со мною умрет все пережитое, вместе со мною истлеет жизненный опыт, доставшийся такой тяжелой ценой!

Да, много блестящих, величественных и ужасных картин прошло перед моими глазами. Безудержная роскошь Людовика XV, трагедия Людовика XVI, пострадавшего за грехи предков,

дни террора и безумия, искрометная карьера Наполеона, его слава и падение, неистовство «союзников», явившихся восстанавливать чуждых и им, и нам Бурбонов, июльская революция — всему этому был я свидетелем. А Екатерина II, Густав III, Христиан VII, блеск их дворов, пышность их жизни!

Но не в этих полных суетного тщеславия картинах заключено то, что мне хотелось бы передать потомству, что еще приковывает меня к жизни. Моя душа уже давно мертва, и не прельщают ее образы земного величия. Все — прах и суета, все — обманная мишура... Нет, моя личная печальная судьба да послужит молодежи предостережением, и о ней-то я и хочу рассказать. За краткие минуты чувственного наслаждения я поплатился всей жизнью; неосторожная, преступная клятва сделала меня рабом разнузданной женщины, той самой, что подобно могильному цветку пышно разрослась на гнойнике монархии. И вот что я теперь!.. Труп, обреченный одновременно и на загробные муки, и на терзания земной жизни.

В назидание молодому поколению я, Гаспар Тибо Лебеф, расскажу, как это случилось и что из этого произошло. Вся моя жизнь, тесно связанная с жизнью злосчастной Аделаиды Гюс, пройдет перед глазами читателя. По большей части прошлое живо

стоит перед моими глазами, но да простится мне, если кое-что затуманилось в памяти. Я стар, могу спутаться в мелких деталях, фактах и числах. Что за беда, если бесспорным и верным останется тот вывод, ради которого я и предпринял эту непосильную в моем возрасте работу?

Итак, с Богом!.. Впрочем, сначала еще одна оговорка, читатель: многое из того, о чем я расскажу здесь в последовательном порядке, стало мне известно из сообщений других лиц, и иногда я узнавал о них только через несколько лет после происшедшего. Все равно, ради удобства воспоминаний и связности рассказа, я буду описывать события не в том порядке, как они мне раскрывались, а как они происходили на самом деле, и связывать лично виденное с тем, что узнал впоследствии.

Однако все оговорки да оговорки! Вот что значит старость: бродишь вокруг да около и никак не приступишь к делу! Так с Богом! Прими, о юный читатель, эту правдивую исповедь наболевшего сердца и извлеки из нее тот урок, которого так недостает твоей неопытности. «Женщина — исчадие ада!» Да сопутствует тебе это изречение святых отцов на всех путях твоих!

Ни отца, ни матери я никогда не знал, так как оба они трагически погибли вскоре после моего рождения. Отец умер потому что, спасая из пожара

люльку с дорогим ему новорожденным, сам получил тяжкие ожоги, а мать не могла перенести смерть отца и в припадке тоски повесилась. Таким образом я с шестимесячного возраста оказался на попечении двоюродного брата отца, аббата Дюпре, служившего в предместье тихого приморского городка Лориен (в Бретани).

С самого детства океан глубоко волновал меня, принося вместе с прибоем волн какие-то смутные грезы и желания. Мне казались невыносимыми тишина и бледность моей жизни, и мечта звала куда-то вдаль, в неизведанные страны, к новым, ярким впечатлениям. Да, так было тогда, а теперь, вспоминая свою жизнь, я думаю, что у меня не было времени счастливее детских лет в тихом, милом Лориене.

Дядя-аббат заставлял меня много и серьезно заниматься. Сам он был человеком всесторонне образованным и сумел заинтересовать учением и меня. В двенадцать лет я совершенно бегло читал по-латыни и свободно понимал без словаря кодекс Юстиниана, не говоря уже о том, что Плутарх, Цицерон, Корнелий Непот, Геродот, Овидий и прочие корифеи латинской и греческой литературы были моими интимными друзьями. Вообще я, должен сознаться, был странным ребенком. Словно жил вне жизни: книги и смутные мечты, навеваемые мне океаном, составляли все мое

существование.

Шли дни, складываясь в недели и месяцы; уносились месяцы, складываясь в годы. Казалось, что жизнь всегда будет идти так же ровно, серо, бесцветно и никогда не сбудутся мои яркие мечты. И вдруг они осуществились, осуществились так просто, как это бывает с важнейшими поворотными пунктами.

Это было осенью 1759 года, когда мне исполнилось пятнадцать лет. Уже с утра я видел, что дядя-аббат чем-то взволнован, что-то хочет сказать мне, но не может решиться. Я заранее волновался, но старался не подавать вида, что волнуюсь. Наконец вечером дядя позвал меня к себе в кабинет и заговорил, взволнованно расхаживая крупными шагами взад и вперед по комнате:

— Гаспар, теперь ты — уже почти юноша... Представляешь ли ты себе, что такое жизнь и что она требует от нас?

Я молчал, смущенный этим неожиданным вступлением.

Тогда дядя продолжал, видимо все более волнуясь:

— Ну, да, ты не знаешь, ты не можешь ответить... В этом моя вина: я слишком долго держал тебя возле себя! Разве монах знает жизнь? И разве можно научить другого тому, чего не

знаешь сам? Я честно старался вооружить тебя как можно лучше на борьбу за жизнь, но... — Он опять замолчал, продолжая расхаживать по комнате. — Ну, словом, — продолжал он через некоторое время, — тебе нельзя долее оставаться здесь. Я стар, могу умереть каждую минуту; что же будет с тобой тогда? Ты много знаешь, ты развит и образован не по летам, но ведь жизнь требует практического применения знаний. Знать мало — надо уметь. А ты ничего не умеешь...

Я продолжал молчать, охваченный каким-то тревожным, сладким предчувствием. Жизнь... мне предстоит вступить в нее? Но, Боже мой, ведь в этом-то и была конечная цель моих смутных по своим реальным очертаниям, но ярких своими надеждами грез!

Дядя уселся в кресло и продолжал уже спокойнее:

— Говоря попросту, тебе надо избрать себе профессию. Прежде я думал, что ты пойдешь по моим стопам и станешь священником. Но, наблюдая за тобой, я убедился, что ты не годишься для пастырского призвания. Под внешней мечтательностью и кротостью в тебе таится скрытый мятеж души... Что же, и в светской жизни можно спастись, но горе тому, кто принимает пастырский обет, не будучи в силах в полной мере сдержать его. Нет, иди в жизнь, сын мой, иди в

жизнь!

Но ведь я ничего лучшего и не желал тогда!

— Теперь, — продолжал дядя, — я должен познакомить тебя с твоими семейными обстоятельствами. До сих пор ты думал, что у тебя нет других родственников, кроме меня. И правда, с отцовской стороны их у тебя нет, но зато остались родственники со стороны матери. Должен сказать, что твоя мать происходила из родовитой буржуазии: она — урожденная Капрэ. Отец твоей матери был против ее брака с мелким дворянином, но, подчиняясь голосу страсти, она тайком бежала и обвенчалась с твоим отцом.

Я не хочу осуждать твоих родителей — для этого я слишком любил их, да и они сами были слишком хорошими людьми. Но по их судьбе видно, что гневящий отца гневит Бога: печальная участь твоих родителей тебе известна! Так или иначе, но отец твоей матери не простил ее брака и вычеркнул ее из своей жизни. Года два тому назад он умер, оставив все свое состояние и нотариальную контору сыну Пьеру, твоему родному дяде. Я написал Пьеру Капрэ о тебе и вчера получил от него ответ. Дядя согласен взять тебя к себе на службу, но не на правах родственника, а как постороннего: он хочет сначала убедиться, достоин ли ты его забот. Имей в виду, что твой дядя бездетен... Ну, да это — дело

будущего. А сейчас важно только то, что тебе надо отправиться к дяде в Париж!

В Париж! У меня сердце остановилось от восторга! В Париж, где кипит истинная жизнь!

— В Париж? — повторил я. — Но когда же?

— Не стоит терять времени, — ответил дядя-аббат. — Годы не ждут, ты и так ты засиделся. Омнибус отходит завтра в три часа дня, вот и отправляйся. А теперь иди к себе, сын мой. Завтра утром мы с тобой еще поговорим об этом, а теперь дай мне помолиться и подумать.

Почти не помня себя от радости, я вышел из кабинета, выбрался во двор и стал обходить церковные постройки, садик, тихую обсаженную деревьями улицу. Я прощался с милыми местами, но во мне не было скорби и сожаления: моя душа ликовала, пела, носилась в сладостном вихре упоенья. И только тогда, когда я незаметно очутился около старой серенькой церковки, что-то подхватило меня, я упал на колени и стал горячо молиться, чтобы Господь благословил меня на новый путь...

Должно быть, я все-таки плохо молился тогда, так как Господу не угодно было принять мои молитвы!

Не буду много говорить о моем парижском дяде и о том, как он принял меня. Ведь ему пришлось играть слишком маленькую роль в моей



жизни, а мне еще надо так много рассказать вам! Поэтому скажу просто, что дядя по отношению ко мне сразу взял строго официальный тон. Он принял меня к себе на службу, четко определив мои обязанности и обусловив мое вознаграждение: столько-то в первые два года, столько-то на третий и т. д. Вне этого он ничего не хотел знать. Даже жить я должен был отдельно, хотя у господина Капрэ нашлось бы в доме достаточно места даже и для пяти родных племянников.

И началась моя парижская жизнь. С утра до вечера я торчал в конторе, занимался актами и законами, законами и актами, а по окончании занятий шел обедать в дешевенький кабачок, и если была хорошая погода — гулял немного; а потом отправлялся к себе в комнатку спать. И в праздничные дни моя жизнь была тихой и скромной: единственным моим развлечением были прогулки за город. Достаточно сказать, что я даже не проживал скудных грошей, полагавшихся мне в виде жалованья.

Так прошли два года, и мне стукнуло семнадцать лет. Я был еще совершенно чист, скромн, застенчив, словно девушка. Несмотря на соблазны одинокой жизни, несмотря на заигрывания и авансы соседок-гризеток, я еще не знал женщин. Быть может, удержись я в этой чистоте, и не случилось бы со мной того, что

испортило мне в последствии всю жизнь. Но случаю угодно было пробудить во мне мужчину, — и, потеряв свою чистоту, я стал уже более чувствителен к женскому влиянию. Вот о своем первом падении я и хочу сначала рассказать вам.

Не помню уже, где и как мне пришлось однажды слышать старое еврейское предание. Языческий царь призвал к себе троих еврейских праведников и приказал им совершить какой-нибудь из трех грехов по их выбору: согрешить с язычницами — рабынями короля, напиться пьяными или вкусить нечистого, тrefного мяса. Праведники рассудили, что из всех трех грехов самым невинным будет опьянение, и выпили добрую амфору крепкого вина. Но опьянев, они потеряли меру добра и зла и уже без всякого принуждения принялись есть нечистое мясо и грешить с рабынями. Таким образом, говорит талмудистское предание, вино — самое худшее из зол, потому что оно заключает в себе все остальные.

Вот и я своим падением был обязан вину. Однажды я расхворался, и мои соседи — две модистки, Роза и Клара, мелкая актриса Сесиль, студент Пьер и художник Анри — так мило отнеслись ко мне, так заботливо ухаживали за мной, что я решил по своем выздоровлении

отблагодарить их маленьким пиршеством в соседнем кабачке. А тут еще подоспело окончание срока моего ученья в конторе у дяди и поступление в штат, что было сопряжено со значительным увеличением жалованья. Таким образом предлог для пирушки со всех сторон казался как нельзя более подходящим.

Все предвещало удачу нашей пирушке. Мои приятели постоянно бывали веселы и готовы были хохотать даже тогда, когда им нечего было есть; поэтому можно представить себе их настроение в виду предстоящего удовольствия. Я же с утра был в восторженном состоянии. Еще бы! Дядя поздравил меня с окончанием периода ученья и в первый раз пригласил к себе обедать. За обедом он выразил мне удовольствие по поводу моего старания, скромности и способностей, высказал надежду, что мое будущее обеспечено, и подарил немного денег. Опьяненный радостью и стаканчиком старого вина, который пришлось выпить за обедом, я радостно полетел домой к своим друзьям.

Ужин удался на славу. Молодые люди шалили, словно дети, и я сам, обычно застенчивый и скромный, не отставал от них. С каждой новой бутылкой вина настроение у меня все повышалось, манеры становились все развязнее и... в голове у меня все сильнее туманилось и кружилось.

Сознание происходящего шло какими-то скачками, так все и запечатлелось у меня в памяти: отдельные сценки представляются мне очень ясно, но, что было между ними, я совершенно не помню теперь, как не помнил и в дни, следовавшие непосредственно за пирушкой.

Три сцены представляются мне особенно ярко и рельефно. Роза сидит на коленях у Анри и страстно обнимает его, Клара и Пьер возятся в углу на диване, словно котята, щекочут друг друга, хохочут, пищат, а я и Сесиль сидим близко-близко друг от друга, ее нога чуть-чуть касается моей, ее взгляд тонет в моих расширенных зрачках, и от этого прикосновенья, от этого томного, жаждущего греха, обволакивающего взгляда по телу у меня пробегают колющие искорки. Воспоминания бурным ураганом крутятся в мозгу. Вспоминаются мирная жизнь в тихом Лориене, беспокойные грезы, навеваемые прибоем волн, спокойная жизнь в Париже, столь далекая от прежних мечтаний и надежд... И мозг острой молнией пронзает безумно-сладостная мысль: в этом взгляде, в этом прикосновении все оправдание, разрешение, осуществление детских грез... А Сесиль пригибается совсем близко к моему лицу и что-то шепчет Что?

Волны тумана сгущаются и заслоняют дальнейшее.

Потом они снова разрываются. Розы и Анри уже нет, Клара и Пьер в судорожном объятии сплелись и замерли в уголке дивана. Тускло горят свечи, освещая залитый вином стол. Я и Сесиль стоим совсем близко от двери. Сесиль нежно тянет меня за руку и шепчет:

— Пусть их себе! Что нам до них? Идем же, мальчик мой, идем, я так люблю тебя!

Жгучая струя хлынула в мой мозг и пеленой красного тумана снова поглотила дальнейшее. И в третий раз разрывается туман, чтобы выявить передо мной картину, которая заставляет низко-низко опускаться мою седую голову.

Мы одни в комнате Сесиль. Воздух душен и пропитан странным ароматом. Что это — запах ли духов, или благоухание чего-то мне неизвестного? Еще сильнее кружится голова... Сесиль медленно протягивает руки, обвивает меня ими, привлекает к себе, не отрывая от меня взгляда расширенных глаз, и мы сливаемся в бесконечном, страстном поцелуе...

Ночь любви! Сколько очарования в этих двух словах! Но это очарование было бы еще больше, еще победнее, если бы за ночью любви, как и за всякой другой, не следовало утро!

И оно наступило, мое утро.

Маленькая грязная комната. Платье и белье, беспорядочно разбросанные, как попало. Не очень

молодая, сильно пожившая женщина с увядшими формами и желтым помятым лицом. И сам я, какой-то запачканный, опозоренный, еле сдерживающий горькие рыдания, ощипанный птенчик.

Много дурных минут переживал я в жизни, но не помню, чтобы какая-нибудь другая сравнилась по остроте презрения к себе с минутой этого пробуждения!

Моя связь с Сесиль на этом и закончилась — тому была целая совокупность причин, из которых каждой в отдельности было уже совершенно достаточно. Сесиль жила любовью, и театр являлся для нее только своего рода бульваром, как говорят теперь, в XIX веке. Как женщина не первой молодости (ей было около тридцати, а ведь для девушки, начавшей жизнь с четырнадцати лет, это — почтенный возраст), она могла забыться на минуту, отдаться капризу, но не подчинить последнему всю свою жизнь. А что был я для нее? На роль постоянного друга сердца, которого удаляют, когда является «хлебный» клиент, я не годился; содержать Сесиль я не мог. Она сорвала с меня цвет моей чистоты и удовольствовалась этим.

Да и сам я был готов на что угодно, только не на продолжение нашей связи: с этой ночью для меня было связано представление о таком непреоборимом омерзении, какого я никогда потом

не испытывал.

В первые минуты после своего падения я готов был убить себя с отчаяния; но потом это ощущение сгладилось, и время от времени я с легким сердцем шел искать чувственных удовольствий у доступных женщин. В том-то и был весь ужас первого падения: оно пробудило во мне зверя-мужчину, уже не свободного от реальных грез и желаний.

Хотя связь с Сесиль распалась сама собой, но мне была невыносима мысль жить близко от нее, под одной кровлей. Я переехал в комнату на улице Фоссэ-Сэн-Жермен, которую теперь называют улицей д'Ансьен-Комеди. Ввиду того, что в то время на этой улице помещался старейший французский театр «Комеди Франсэз», большинство домов там разбивалось на комнаты, а не на квартиры. И я зажил среди самой пестрой обстановки, среди номадов искусства — комедиантствующей братии Парижа. Сесиль, игравшая в «Комеди Франсэз», изредка навещала меня, но чисто по-дружески, и ничто в ее обращении не давало и тени намека на наш прошлый эпизод. Случалось, что она занимала у меня деньги, когда дела шли плохо; бывало, она заходила за мной, чтобы дать мне возможность даром посмотреть представление. Вообще редко даже мужчины так дружат между собой, как

дружили я и Сесиль. Но как чисты ни были теперь наши отношения, а нечистое прошлое нашей дружбы сделало свое дело. Я уже был не юношей, а мужчиной, которому вскоре пришлось поплатиться за свое пробуждение.

Однажды под вечер, в праздник, я вышел из дома купить себе чего-нибудь на ужин. Стояла такая дивная погода, что мне жалко было сразу же возвращаться, и я решил немного прогуляться. По дороге я встретил кого-то из приятелей, мы гуляли довольно долго, а потом зашли поужинать в кабачок. Была уже ночь, когда я возвращался на улицу Фоссэ, помахивая пакетиком с напрасно купленными ветчиной и хлебом. Я был в отличнейшем настроении и весело насвистывал залихватскую уличную песенку. Вдруг она сразу замерла на моих устах: подойдя к двери, я вспомнил, что оставил дома ключ от коридора!

В доме, где я жил, оба верхних этажа, сдававшихся под комнаты, имели отдельный вход, при котором никакого консьержа не полагалось: дверь в коридор запиралась около одиннадцати часов вечера, и запоздавшие жильцы отпирали их своим ключом. Но ведь я, выходя из дома, не предполагал, что загуляю до такого позднего часа, а потому и не взял с собой ключа. Как же мне быть теперь и как попасть к себе?

Я присел на скамейку и стал раздумывать,



меланхолически любуясь зеленоватыми бликами, щедро рассыпанными по фасаду противоположных домов полной луной. Да, ночь стояла дивная, и улица казалась очень красивой в мистических лучах Селены. Тем не менее любоваться этими красотами до утра мне вовсе не улыбалось.

И вдруг я вспомнил, что в наш коридор имеется еще другой вход с лестницы, где расположены двери дешевеньких квартир, заполнявших нижние этажи. Правда, чтобы пробраться к этому ходу, надо было сначала проникнуть через ворота, которые тоже запирались с наступлением ночи, но перемахнуть через забор было не так уж трудно для моих семнадцати лет. Не раздумывая далее, я решил осуществить свою мысль.

Через забор я перебрался без всяких затруднений и оживленно зашагал по лабиринту грязного двора. Вот я и у лестницы! Только бы не попасть в чужое помещение и через несколько минут я буду у цели!

По грязной, скользкой лестнице приходилось взбираться с осторожностью — при малейшей поспешности нога могла подвернуться, а падение в этой темноте обещало мало хорошего. Тем не менее я поднимался довольно быстро, тщательно отсчитывая этажи. Наконец я очутился на довольно широкой площадке, от которой боковая лестница в

несколько кривых ступеней вела к заднему выходу комнатного коридора. Из довольно большого разбитого окна площадки широким потоком лился мягкий лунный свет, позволяя ориентироваться с большей уверенностью. Ура! Я не ошибся: еще несколько шагов — и я буду дома!

Я уже занес ногу, чтобы преодолеть последние три ступеньки, отделявшие меня от коридора, как вдруг тихий плач, послышавшийся откуда-то со стороны, заставил меня остановиться и прислушаться. Да, кто-то тихо всхлипывал совсем близко от меня. Но где? Как раз в тот момент, когда я стал осматриваться по сторонам, плач прекратился. Пожав плечами, я снова занес ногу, но в этот момент опять послышалось жалобное всхлипыванье. Теперь я ясно расслышал, что плач раздавался из дверцы направо. Там был небольшой чуланчик, и в этом-то чуланчике плакал неизвестный ребенок.

Дети от малых лет и по сию пору остаются моей слабостью. Как бы дурен, капризен, зол ни был ребенок, я никогда не мог понять, как же можно заставить плакать маленького человечка? Ведь он еще наплачется в жизни! Словом, поняв, что это плачет ребенок, я сейчас же направился к чуланчику и открыл дверь, тотчас впустив поток лунных лучей. В первый момент мне показалось, что в чуланчике никого нет, но, приглядевшись, я

заметил в углу какую-то скорчившуюся фигурку, притаившуюся и со злобой испуганного зверька глядевшую на меня.

Я сделал несколько шагов вперед. Фигурка еще глубже забилась в угол, и сдавленный голос угрожающе прошипел: «Только подойди!.. Только тронь!.. Я-те глаза выцарапаю!» — и дикое существо протянуло вперед руки, растопырив и скрючив худые, бледные пальцы.

— Полно! — спокойно и ласково сказал я, — разве я хочу тебе зла, девочка? Просто я услышал твой плач и подумал, не могу ли я чем-нибудь помочь твоему горю. Ну, расскажи же мне, кто ты такая и отчего ты плачешь?

Ласка моих слов сделала свое дело. Девочка закрыла руками лицо и сквозь рыдания сказала:

— Ах, я так боюсь, так боюсь... Что-то скрипит, что-то стонет... И крысы бегают! Я заснула немножко, а они принялись возиться и скакать через меня... И есть-то мне хочется, просто моченьки нет, просто все нутро свело...

— Да откуда ты? как ты сюда попала? — воскликнул я, не зная, что и думать относительно странного положения этого ребенка.

— Я живу внизу вместе с проклятой, — мрачно ответила девочка, — она хотела избить меня, но я не далась и убежала. А теперь она у Фаншон и раньше утра не придет. Вот я и

забралась сюда... Я уже было обрадовалась, когда услышала ваши шаги: думала — проклятая идет; ведь теперь-то мне бояться ее нечего: у Фаншон она выпьет, а, выпивши, становится добренькой-предобренькой!

— Кто это «проклятая»? — улыбаясь спросил я. — Наверное, твоя хозяйка?

— Нет, это — моя мать, — мрачно ответила девочка.

— Деточка! — в ужасе вскричал я, — да понимаешь ли ты, что ты говоришь? Ведь смертный грех называть так мать!

Дикарка моментально пришла в бешенство.

— Убирайся! — закричала она, топая ногами и подымая сжатые кулачки. — Тоже, подумаешь, какой поп нашелся! Мне и дома-то тошно от проповедей, а тут еще всякий проходимец суется... От наставлений сыт не будешь... — Но вдруг тон ее голоса из злобного сразу стал детски-жалобным, и, поднося кулачки к заплаканным глазам, она продолжала всхлипывая: — А мне так есть хочется, так хочется!..

— Ну, вот что, деточка, — сказал я, — здесь тебе оставаться ни в коем случае нельзя. Пойдем со мной, я живу тут наверху, в комнате; у меня найдется что-нибудь съедобное, ты поешь, отдохнешь, а там мы увидим, что с тобой дальше делать.

Ее глаза заблестели голодным, жадным блеском.

— Поеть! — в каком-то мечтательном упоении протянула она. — Как это хорошо, поеть!.. Но ты не обидишь меня?

— Разве ты не видишь, что я хочу тебе только добра? — тоном мягкого упрека ответил я.

— Хорошо, я вам верю, — надменным, почти снисходительным голосом заявила девочка, а затем, подойдя ко мне и вложив свою ручонку в мою руку, повелительно сказала: — Пойдем скорее, я так хочу есть!

Через несколько минут мы уже были у дверей моей комнаты. Ключ от нее был при мне, я поспешно отпер и сказал моей спутнице:

— Погоди минутку, я сейчас зажгу огонь.

Мне очень хотелось поскорее накормить несчастного ребенка, но зажечь лампу было не таким-то простым делом. Говорят, будто какой-то немец изобрел спички, ими стоит только чиркнуть, чтобы огонь загорелся. Если это так, то для тех, кто будет читать эту правдивую повесть, добывание огня станет легким делом. Мне же пришлось сначала высечь искру из стального огнива, заставить трут затлеться от этой искры, потом взять спичку (кусочек дерева, один конец которого обмокнут в серу), зажечь от трута серу, подождать, пока она прогорит, воспламенив дерево, и уже

только затем я мог приступить к зажиганию самой лампы.

Пока я возился с огнем, девочка продолжала стоять у порога. Теперь при свете лампы я уже мог разглядеть ее. На вид ей было лет тринадцать-четырнадцать, она была довольно высока и очень стройна, но казалась истомленной и изнуренной до последней степени — так худы были ее руки и ноги, выглядывавшие из кучи покрывавших ее невообразимых лохмотьев. Ее лицо, бледное, покрытое ссадинами и синяками, уже тогда обещало стать очень красивым. Особенно хороши были густые золотисто-русые, прихотливо вьющиеся волосы и нежные голубые глаза, поражавшие контрастом между кротостью обычного выражения и дикими огоньками, по временам мелькавшими в них и заставлявшими темнеть их безмятежную лазурь. Только в складке рта было что-то тревожное, отталкивающее: в невинности пухленьких губок чувствовалась жадность безжалостного, хищного зверя.

— Ну же, иди сюда, милая! — ласково сказал я. — Я сейчас приготовлю тебе поужинать!

Но девочка продолжала нерешительно стоять на пороге. Ее глаза, любопытно оглядывавшие убогую обстановку комнаты, теперь упрямо и недоверчиво потупились.

— Да иди же! Ну чего же ты боишься? —

повторил я.

Девочка подняла на меня взор, и меня поразила перемена, сказавшаяся во всем ее виде: передо мной была уже не девочка, а опытная, знающая женщина.

— Вот что, — несколько неуверенно начала она, — уговор дороже денег... Я, пожалуй, пойду, только вы уж меня не троньте...

— Да неужели ты не видишь, что я хочу тебе только добра? — удивленно воскликнул я, не понимая истинного значения ее опасений.

На ее губах скользнула бледная, циничная улыбка.

— Знаем мы это добро! — иронически кинула она. — Вот лавочник Соро тоже все сманивает меня к себе. «Я, — говорит, — вам, барышня, желаю одного добра»... Но только пока еще этого не будет, и если вы рассчитываете купить меня за кусок хлеба с мясом, то...

— Замолчи! — крикнул я, с отчаянием хватаясь за голову и чувствуя, что рыдания ужаса подступают у меня к горлу. — Неужели люди были так злы к тебе, что ты уже не веришь в бескорыстное добро? Да ведь ты — ребенок, и говорить о таких ужасах...

Она не дала мне кончить. Она сразу преобразилась, и передо мной снова была маленькая девочка-дичок. Улыбаясь, она

подбежала ко мне и с кошачьей ласковостью сказала:

— Ну, ну, *frerette* (Братишка!), не сердись, а лучше дай мне поскорее поесть. Я так голодна... Я не виновата, если мужчины по большей части все такие скверные — мало ли я натерпелась от их приставаний. Ведь я хорошенькая, а «проклятая» права, когда говорит, что в красоте и счастье, и несчастье.

Пока я разворачивал ветчину и хлеб, доставал кусочек масла, огрызок козьего сыра и молоко, моя невольная гостья, подсев к столу, доверчиво болтала с дьявольской смесью детской наивности и испорченности парижской женщины низших слоев:

— В сущности говоря, если бы ты даже и стал моим дружкой, то ничего особенно плохого тут еще не вышло бы. Все равно, не теперь, так через год... И будь я богатой, я и думать не стала бы. Но мне надо обязательно сохранить себя: ведь я готовлюсь стать актрисой.

Я резко обернулся к ней и сказал:

— Как тебя зовут?

— Адель, — ответила она.

— Ну, так вот, перестань болтать вздор, Адель, и принимайся за еду!

Девочка не заставила себя просить и с жадностью накинулась на скудный ужин, разрывая ветчину руками и глотая мясо и хлеб целыми



кусками, не жуя. Видно было, что она не только проголодалась, но и наголодалась, что наесться досыта было ее давнишней, недостижимой мечтой.

Я подсел к столу, смотрел, как она насыщается, и с горечью думал обо всем, что мне пришлось услышать от нее. В первый раз мне пришлось столкнуться лицом к лицу с истинным, неприглядным развратом большого города. Эта девочка пока еще чиста, но она уже знакома с грехом, мысленно уже изведала его пучины и ждет только случая, чтобы с возможной выгодой вступить на торную дорожку срама и позора, в которых «не видит ничего особенного»! О, этот проклятый город! Каким страшным ядом пропитывают его безжалостные паучьи лапы детский мозг и невинную душу ребенка! Нищета! Ты — не порок, о, нет!., но в большом городе ты таишь в себе все пороки сразу!

Утолив первый голод, Адель с блаженным видом потянулась к бутылке.

— Гм... молоко! — критически прищурившись протянула она. — Конечно, иногда и это недурно, но, может быть, у тебя найдется глоток вина?

У меня было легкое красное вино: не знаю, как теперь, но в те времена вино стоило дешевле хлеба и составляло необходимую принадлежность каждого стола. Но как ни легко было это вино, мне

казалось диким и непривычным, чтобы у ребенка могла быть потребность в нем. Однако я подумал, что ночь была довольно свежа, Адель, наверное, промерзла, так что выпить глоток вина ей и на самом деле не худо. Я достал с окна бутылку и налил Адели четверть стакана.

— Спасибо! — сказала она, одним духом выпивая вино, затем, не спрашивая моего разрешения, налила себе еще целый стакан и залпом выпила и его тоже. — Уф! — сказала она затем, — вот теперь можно и продолжать! — и она продолжала есть, пока не подобрала все до крошки.

Тогда меня даже удивило, что Адели и в голову не пришло подумать, не хочу ли и я поесть. Но впоследствии я к этому привык... Впрочем, в данный момент меня более всего поразила та легкость, с которой девочка пила вино.

— Однако! — с шутливым укором сказал я. — Разве тебе дают дома вино?

— Дома? — удивленно переспросила Адель. — Мяса у нас почти не бывает — это правда, ну, а в вине недостатка нет!

Уписывая остатки ужина, Адель рассказала мне о себе. Ее мать, Роза Гюс, была прежде мелкой актрисой и вместе с труппой изъездила всю Европу, побывав даже в далекой России. Там-то Роза и почувствовала себя матерью, но, кто был отцом ребенка, этого она наверняка сказать не

могла.

— Да и немудрено, — со злой усмешкой пояснила Адель. — Ведь «проклятая» с кем только не путалась! Она и теперь готова всякому на шею броситься. Только дудки, прошло ее время — кому нужна такая гнилая пьяница!

Если с достоверностью Роза и не могла назвать отцом Адели определенное лицо, то больше всего шансов на эту честь было у русского графа, очень недавнего происхождения (Предполагаемым отцом Аделаиды был Лесток, лейб-медик императрицы Елизаветы Петровны, возведенный в графское достоинство за переворот 1741 г., т. е. при ниспровержении правительства регентши Анны Леопольдовны и воцарении Елизаветы.), а потому — заносчивого и гордого. Роза обратилась к графу с требованием обеспечить ребенка, он же вместо этого приказал выслать актрису из пределов России. Гюс-мать была на склоне молодости, когда с ней случился этот «грех». Повлияло ли это обстоятельство, или виной были крушение радужных надежд и суровая высылка, только трудные роды унесли с собой последние остатки былой красоты, и, оправившись, Роза Гюс очутилась лицом к лицу с самой неприглядной бедностью. Она стала попивать, и это заставило ее опуститься еще ниже. Ни один даже самый убогий театрик не желал теперь

принять ее к себе на службу, и в последние годы старуха жила до ужаса бедно, так как источник ее доходов был слаб и шаток; она лишь вертелась за кулисами «Комеди Франсэз», оказывала мелкие услуги молодым актрисам, служила посредницей между ними и поклонниками, передавала записочки от молодых и старых щеголей, приходила на помощь в затруднительных случаях — словом, не гнушалась никакой работой, лишь бы эта работа не требовала от нее физического труда. Но эта сомнительная работа оплачивалась очень скудно, да и привычка к рюмочке делала свое дело, так что Адель постоянно голодала. Правда, выпадали счастливые дни. Вот, например, завтра старуха будет добренькой, потому что сегодня «налижется» и получит от Фаншон, актрисы из «Комеди Франсэз», хорошо «на чай» (Автор пользуется в данном случае русским выражением, подходящим по смыслу, но текстуально неверным: чай и теперь не получил во Франции права гражданства, а в те времена им чаще пользовались только как лекарственным снадобьем.): Фаншон устраивает ужин для коллег, и старуха должна была присмотреть за слугами. Зато в те дни, когда не на что выпить, мать зла до ужаса и жестоко дерется по каждому пустяку. И то сказать, ей приходится очень трудно. Ну зато, когда она, Адель, подрастет, их бедствия кончатся: Адель

станет актрисой, но уже не такой, как дура-мать! И погоди ж ты! Все эти синяки, царапины и побои она выместит тогда на «проклятой».

Покончив с ужином и выпив последние капли вина, Адель потянулась с видом довольной кошечки и сказала, потирая кулаками сонные глаза:

— А теперь спать, спать! Но как бы нам устроиться?

— Если ты стесняешься меня, — улыбаясь сказал я, — то это ни к чему: как ты видишь, у моей кровати имеются занавески, и, если я спущу их, так мы друг друга не увидим.

— Стесняться! — пренебрежительно кинула она. — Вот глупости! Я думаю вовсе не о том! Как ты меня устроишь?

— А вот соберу я все свое платье, покрою им помягче этот деревянный диванчик, да и спи себе с Богом!

— О, — деловито возразила Адель, — мне, право, совестно, что ты будешь так много хлопотать из-за меня! Нет, я придумала гораздо проще: я лягу на твою кровать, а ты устройся здесь. Тогда тебе не придется ничего делать для меня!

Не успел я ответить что-либо на эту хитрую наивность, как Адель обвила мою шею руками, поцеловала меня в губы и, кинув мне: «Спасибо и покойной ночи, братец!», очутилась возле кровати. Через несколько секунд занавески последней

опустились, слышалось шуршанье сбрасываемого платья, затем Адель принялась что-то говорить, ее голос все слабел, быстро перешел в неясное бормотанье, и через минуты две-три все замолкло.

Что касается меня, то я с комическим жестом беспомощности принялся, как умел, устраиваться на диване. Для Адели он был бы как раз по величине, но для меня слишком мал. Лежать было страшно неудобно, приходилось изображать какой-то крючок, и в эту ночь я почти не спал. Ворочаясь с боку на бок, я непрерывно думал о несчастной девочке, которую случай загнал под мою кровлю. Мне хотелось видеть в этом какой-то указующий перст: ребенок с хорошими инстинктами, с богатой натурой (по крайней мере я уверил себя, что это так), гибнет, словно растеньице, лишенное заботы и внимания. У меня много свободного времени, которое пропадает зря, в праздности и чревоугодии. Почему не посвятить этого времени несчастному ребенку, почему не постараться развить ум Адели и просветить ее душу, не ведающую Бога, не постигающую границы между добром и злом?

Мне вспомнился дядя-аббат; он, как живой, вырос передо мной со своим бледным лицом, умными глазами и доброй, мягкой улыбкой. Мне показалось, будто я вижу, что он благословляет

меня на уловление этой первобытной души для Бога, и я еще тверже проникся принятым решением.

Если бы я не был так молод тогда, я понял бы, что цветок, выросший на могиле, с момента зарождения отравлен соками разложения и что не во власти слабого юноши изменить его ядовитые свойства. Я понял бы, что такой цветок нельзя спасти, самому же легко отравиться им.

Очень скоро эта роковая истина стала ясна мне. Но тогда было уже слишком поздно.

Утром я вскочил с дивана по крайней мере на полчаса раньше, чем обыкновенно: перед уходом в контору надо было напоить мою случайную гостью горячим молоком с хлебом.

Я побежал в лавочку.

Она была за углом. Проходя мимо ворот, я увидал там кучку народа, обступившего небольшую, полную женщину с квадратным оплывшим лицом, синевато-багровые жилки которого говорили о ее пристрастии к спиртным напиткам. Она взволнованно рассказывала что-то, сильно жестикулируя руками. До меня донесся обрывок ее фразы:

— А ведь подумать только, что я лишь для нее и жила! И где мне искать ее? Париж — не такой город, чтобы добровольно отдавать свои жертвы!

Услышав, что слушатели называли женщину «мадам Розой», я понял, что передо мною мать Адели, Роза Гюс. Я торопливо подошел к ней и спросил:

— Если не ошибаюсь, вы — госпожа Гюс?

— Я самая и есть, — с заискивающей улыбкой, моментально сменившей выражение театрального пафоса, ответила мне мамаша Гюс. — А чем могу служить вам, мой молодой барчонок?

— Я слышал, что вы беспокоитесь о пропавшей дочери. Так не волнуйтесь: Адель жива и здорова, она у меня.

Я не ожидал, что мои слова произведут такой громоподобный эффект. В первый момент Роза только раскрыла рот и выпучила глаза. Но затем сейчас же ее лицо покрылось густым, словно апоплексическим, румянцем бешенства и, ухватившись цепкими пальцами за мой рукав, мегера отчаянно завопила:

— Полицию сюда, полицию! Господа, будьте свидетелями: этот негодяй завлек мою дочь... Полицию! Полицию!.. Да разве я для тебя берегла и холила ее?

— Полно вам вздор-то молоть! — сурово оборвал старуху коридорный нашего этажа. — От месье Гаспара еще никто ничего худого не видал, и если девчонка у него, так вам надо благодарить за это Бога!



— Как вам не стыдно! — крикнул и я, со злостью вырывая свой рукав из цепких пальцев мегеры. — Хороша мать, у которой только одни гадости на уме! Нечего сказать, научите вы добру свое дитя! Вы лучше не выгоняли бы ее на улицу, чем набрасываться на добрых людей, которые пожалели обиженную крошку. Ну что же, зовите полицию, я по крайней мере спрошу, имеет ли право мать выгонять девочку-подростка на всю ночь из дома, толкая ее прямо в лапы разврата! — и в бешенстве я стал осыпать старуху бранью, угрозами и проклятиями.

Не обращая внимания на мою брань, она радостно схватила меня за руки и затараторила:

— Так с бедной крошкой ничего не случилось? О, простите меня, дорогой месье, не судите строго несчастную мать, на которую и без того сыплются все кары земные и небесные! Мало ли чего не скажешь с отчаяния! Но вы, такой молодой, образованный господин, не можете сердиться на нищую старуху, у которой на свете нет ничего, кроме ее дорогой крошки! Где же она? О, дайте пострадавшей матери поскорее прижать к сердцу свое дитя, которое она уже считала потерянным!

В голосе, манерах и позе Розы было столько театральной напыщенности, что мне стало невыразимо противно. Брезгливо вырвав руки, я

угрюмо сказал ей:

— Адель у меня в комнате. Коридорный Жан проводит вас. Идите за ней!

Затем я повернулся и ушел в лавочку.

Когда я вернулся с хлебом и горячим молоком, Адель была еще у меня. Подходя к двери, я услышал обрывки ее разговора с матерью. Старуха говорила льстиво и заискивающе, Адель отвечала ей сухими, злобными репликами.

Не успел я поставить молоко и хлеб на стол, как Адель с радостным криком бросилась ко мне на шею и крепко поцеловала меня прямо в губы. Это был поцелуй младшей сестренки, поцелуй ребенка, и все-таки эта ласка заставила меня вздрогнуть и слегка отстранить от себя девочку.

— Я не хотела уходить, не повидавшись с тобой, братишка! — с кошачьей ласковостью говорила мне тем временем Адель. — Я тебе так благодарна, так благодарна!

Мать сделала какое-то движение, явно собираясь присоединиться к благодарностям дочери, но я угрюмо отвернулся от нее и сказал Адели:

— Вот молоко и хлеб, Адель, ты, должно быть, голодна! Перестань болтать и кушай поскорее; мне пора в контору!

Не заставляя себя упрашивать, Адель весело подскочила к столу, уселась на высокую табуретку

и, болтая ногами, принялась уписывать молоко с хлебом. В это время Роза подошла ко мне и сказала с тронувшей меня простотой:

— Простите меня, господин Гаспар, что я наговорила вам разных гадостей! Бедность и несчастья так издергали меня, что я хожу словно сама не своя. Иной раз сама говорю что-нибудь, а внутри меня другая «я» сидит, которая слушает да удивляется. Вот иной раз бедной Адели от меня попадает, а ведь на самом деле я так горячо люблю ее.

— Меньше бы любила, да чаще кормила бы! — кинула Адель, запихивая себе в рот остатки булки: эта маленькая обжора снова ничего не оставила мне!

— Я нисколько не сержусь на вас, мадам, — ответил я Розе. — Я отлично понимаю, что вы взволновались за дочь. Меня только взбесило, что вы, будучи сами виноваты, накидываетесь на человека... Ну, да дело прошлое, не будем вспоминать о том, что было: я ведь тоже у вас в долгу не остался!

— Так докажите на деле, что вы не сердитесь! — с обрадованным видом подхватила старуха. — Поужинайте сегодня с нами!

— Но, мадам... — смущенно начал я.

— Ну да, вас затрудняет наша бедность, вы боитесь обездолжить нас? Но я очень прошу вас: не

обижайте нас и примите мое приглашение. Мое положение теперь значительно улучшилось, а кроме того, мне надавали от вчерашнего пира столько вкусных вещей, что мне есть чем по-настоящему принять вас. Умоляю вас, дорогой месье, не отказывайтесь!

Мне не очень-то улыбалась мысль угощаться обедами актрис и кутил, но, когда я посмотрел на Адель, в ее голубых глазах блеснула такая мольба, что я не нашел в себе сил отказаться. И я принял предложение, после чего голодный ушел в контору: по дороге можно было чего-нибудь купить и тут же съесть.

Вернувшись из конторы, я спустился к назначенному часу вниз, где помещалась квартира Гюс. Я постучался — никто не ответил мне на стук; заметив, что дверь отворена, я вошел в первую комнату.

Все здесь говорило об ужасной бедности. Некрашенный деревянный стол, такие же табуретки и ободранный шкаф составляли всю ее меблировку. Но я сразу заметил, что к моему приходу готовились: стол, табуретки и пол были вымыты и выскреблены начисто, и кое-где еще виднелись пятна непросохшей воды.

В комнате никого не было, а из соседней доносились голоса. Я кашлянул, но ответа не было. Прислушавшись, я различил голос Адели,

декламировавшей:

Мрачно ехал он в думах микенским путем,  
Безнадежной рукой...

— Не то, Адель, совершенно не то! —  
каким-то отчаянием зазвенел голос ее матери.

Я был поражен. Еще недавно я по протекции Сесиль слышал «Федру», знаменитую трагедию Расина, а любимица жуирующего Парижа Фанни Молле (в просторечии: Фаншон) произносила эти самые слова несравненно хуже и бледнее, нежели теперь это делала Адель. Чем же недовольна старая Гюс?

Ее дальнейшие объяснения развеяли мое недоумение.

— Ты подумай только, — сказала она, — ведь тут должна выразиться целая смесь чувств. Она и злобствует, и раскаивается, она ненавидит Ипполита, но в то же время и любит его. Она принижена его отпором, но не может забыть, что она все-таки царица. В каждом слове двойная игра чувств и страстей... Ну, повтори это еще раз, милочка!

Адель снова начала:

— «Мрачно ехал»...

— Да как ты не понимаешь, — со страданием перебила ее мать, — что все дело не в том, что он

«ехал», а что он ехал «мрачно»? А ты ставишь ударение...

— Мне это надоело, мать, я устала! — капризно заявила Адель.

— Что же делать, дочка? — ответила мать. — Какие бы у тебя ни были способности к сцене, а без упражнений ты ничего не добьешься! Для того, чтобы сделаться истинной актрисой, мало одного таланта!

— Ну, вот еще! — слышался капризный голосок Адели. — У Фаншон нет ровно никакого таланта, а между тем она пользуется огромным успехом! Я достаточно красива, чтобы сделать карьеру не хуже чем у нее...

— Голубушка! — перебила ее мать. — Да ведь если Фаншон сегодня подурнеет, так ее завтра же прогонят со сцены! Да и цена женщине совсем другая, если она и красива, и талантлива!

Не могу передать вам, какой острой болью отозвались в моем сердце эти разговоры. Все протестовало во мне: да ведь Адели нет еще и пятнадцати лет! Боже мой, Боже мой, что же будет с ней, когда она вступит на дорогу созревшей женщины!

Я не мог слушать долее и осторожно, на цыпочках, выбрался за дверь. Неужели нельзя спасти Адель?

«О, нет, можно, — кричала во мне

самоуверенность юности, — надо только не складывать рук, не отступать перед препятствиями».

Постояв несколько минут за дверью, я снова вошел в комнату, но на этот раз громко стукнул дверью, чтобы обратить внимание хозяек на свой приход.

— Ба, да это — братишка! — весело крикнула Адель, высовывая голову на мой стук. — Иди, иди, голубчик, мы сейчас! — и она вместе с матерью вышла из комнаты и сейчас же принялась хлопотать над убранством стола к ужину.

Как объяснила мне старуха Гюс, вчера у Фаншон почему-то собралось народа вдвое меньше, чем ждали, а потому много кушаний остались не только нетронутыми, но даже неподанными к столу. Но это еще что!., самое важное то, что благодаря Фаншон ей, Розе Гюс, удалось получить место смотрительницы дамских уборных, а это уже дает ей хотя и не очень большой, но верный заработок. Говоря все это, старуха расставляла на столе, покрытом рваной, но чистой скатертью, жареную птицу, паштеты и прочие деликатесы, в чем ей оживленно помогала Адель.

Я сидел в уголке, подавал короткие реплики на слова старухи и любовался редкой грацией всех движений девочки. Каждый шаг и жест, манера

браться за тарелку, поворот головы, когда Адель осматривала стол, — все было полно гармонии и изящества. А подвижность ее лица, отражавшего все случайные настроения!

И я еще собирался удержать ее от сценической карьеры! Нет, об этом нечего было и думать: Адель создана для подмостков, и не в человеческой власти удержать ее от сцены.

Вдруг лицо Адели приняло серьезное, задумчивое выражение.

— Вот что, мать, — сказала она, — почему бы тебе не поговорить с братишкой о деле Дюперье? Братишка — юрист; он к нам расположен и не продаст нас, как все эти негодяи!

— А и в самом деле! — оживилась старуха. — Месье Гаспар, не дадите ли вы нам совета, как быть в нашем деле...

— О, я очень рад служить вам, чем могу, дорогая мадам! — отозвался я.

Старуха на минутку скрылась в соседней комнате и сейчас же вернулась с листом бумаги в руках.

— Сначала расскажу вам, в чем тут дело. Есть у нас в «Комеди» артистка Клерон. Актриса она не из последних, ну, и распутница тоже не из последних. Своих дружков она меняла как перчатки. Только вдруг Сюзанна — так зовут Клерон — захандрила и разогнала всех своих



обожателей. В чем дело? Оказалось, эта дуреха влюбилась, как кошка, в своего собрата по сцене, Бризара, а тот на нее и смотреть не хочет. И вот в это-то время Клерон увидел богатый суконщик Дюперье. Стал он за ней увиваться, а она от него нос воротит. Это взбесило и раззадорило его: ведь он слышал, что Сюзанна не из неприступных. Так почему же ему такая немилость? Посоветовался он со знающими людьми, а те ему и сказали: «Обратись-ка ты к тетке Гюс. Она — большая мастерица устраивать счастье любящих сердец, а берет недорого!»

— Да как же вы решаетесь говорить все эти гадости при вашей дочери! — крикнул я с отчаянием, вскакивая с табуретки.

Увидав мое взволнованное лицо, Адель расхохоталась, как сумасшедшая. Старуха помолчала несколько секунд и сказала серьезно и ласково:

— Эх, дорогой месье Гаспар! Вы сами — еще почти мальчик, ну а я — старая женщина, которая не закрывает глаз на настоящую жизнь! Разве в том ужас, что я эти гадости не только рассказываю, но и делаю, а не в том, что без них я прожить не могу? И разве без этих гадостей Адель сможет прожить на белом свете? Нет, милый месье, чем раньше девочка будет знать все, что творится у нас, тем лучше для нее. Меня растили в полном неведении,

собой я была не хуже Адели, вот моей наивностью и воспользовались. А что проку для меня от того, что я была весела и красива? Нет, милый мой, когда выходишь на улицу, надо знать, какая стоит погода. Пусть и Адель заранее знает, что она выходит на грязную, очень грязную улицу.

— Но неужели другого пути нет? — с отчаянием спросил я.

— Нет, месье Гаспар, его нет. Для Адели кроме сцены только два пути: идти в услужение или выйти замуж. Но разве можно браться за какое-либо ремесло с ее наружностью? Ведь она должна будет все равно пойти дорогой греха, только получать за это будет меньше, да рано подурнеет от забот и лишений! Нет, я уж предпочитаю сцену. Ну, а замужество... Эх, дорогой месье, да кто же возьмет замуж нищую девчонку, дочку старой Гюс? Может, и польстится какой-нибудь ремесленник или мелкий лавочник. Да ведь Адель никогда не помирится со скучной, серой, нищенской жизнью. Ведь она через месяц после свадьбы начнет изменять мужу с любым молодчиком, который подарит ей шляпку или ботинки...

— Еще бы! — отозвалась Адель, со спокойным пренебрежением пожимая плечами.

Я молчал. Да и что мог я возразить против этой ужасающей логики? Я верил в добро, верил в

его победную силу, но эта вера была построена на отвлеченных умозрениях, а здесь со мной говорила сама неприкрытая житейская правда!

— Если позволите, я буду продолжать, — заговорила старуха после короткой паузы. — Дюперье обратился ко мне, обещая по-царски наградить меня, если я устрою ему Клерон. Я обещала сделать все, что могу, но в душе решила, что это совсем безнадежно. Однако мне повезло. Однажды, когда я вертелась около уборных, подходит ко мне Клерон да и говорит: «Вот что, тетка Гюс, дурь у меня из головы выскочила: любовью да грошовым жалованьем с моими привычками не проживешь! Да только в то время, пока я с ума сходила, все от меня отскочили, а мне первой начинать нельзя: цену собьешь! Вот я к тебе с просьбой: устрой ты мне какого-нибудь богатого молодчика. Ты увидишь, что Клерон умеет быть благодарной!» Я сейчас же полетела к Дюперье и сказала ему, что его дело устроить могу, но за это он должен как следует отблагодарить меня. Он обещал мне выплачивать пожизненную пенсию в пятьдесят ливров (На теперешний счет 150 франков, т. е. около 40 рубл. по тогдашнему курсу, или около 200 рубл. по нынешнему.) в год и единовременно дать сто ливров. Но я знаю, как обманывают нашего брата, бедного человека! Поэтому я твердо заявила, что без расписки дела не

устрою. Дюперье в шутку выдал мне формальную маклерскую запись. Тогда я свела парочку и от радости поставила в соборе Нотр-Дам самую толстую свечку: Бог внял слезам вдовицы! Однако моя радость была преждевременной. В первый год я получила свои деньги исправно в два срока, как и было уговорено, но на второй год Клерон, порядочно пощипав Дюперье, променяла его на ювелира Мозеса, и, когда я явилась к Дюперье, этот купец без церемонии выгнал меня. Я обратилась к адвокату, но тот отказался взять мое дело, говоря, что запись противозаконна, а кроме того там включен — чего я не знала — такой шуточный пункт, что «если счастье купца Дюперье и артистки Клерон расстроится по вине последней, то действие сей записи уничтожается». Ко многим я ходила; один было взялся, но через несколько дней вернул мне мою бумагу: должно быть, Дюперье подкупил его. Вот эта бумага: посмотрите ее, голубчик, нельзя ли что-нибудь сделать? Ведь для меня с Аделью это — просто спасение!

Внутренне содрогаясь от всей этой грязи, я взял в руки оригинальный документ, а затем, прочитав его и подумав немного, сказал:

— Законным путем тут действительно едва ли что-нибудь сделаешь. Но возможность получить деньги все-таки есть...

— Да неужели? — воскликнула старуха. —

Адель! — неожиданно засуетилась она, — у нас мало вина. Вот деньги; сбегай, голубушка! Так неужели возможность все-таки есть? — продолжала она, когда девочка направилась к двери. — Да как же мне благодарить судьбу за то, что я встретила вас? Но каким путем, вы думаете, можно это сделать?

— Прежде чем говорить о путях и способах, милая мадам, — улыбаясь заметил я, — поговорим об условиях.

— Ну да, ну конечно! — несколько недовольно подхватила Гюс. — Я знаю, что ваш брат-юрист ничего ради прекрасных глаз не делает. Да я и не отказываюсь поблагодарить вас за труды и хлопоты, но вы уж будьте снисходительны и не пользуйтесь моим бедственным положением... И вперед на расходы я тоже ничего не могу дать! — спохватилась она.

— Вы дурно поняли меня, мадам Роза, — спокойно возразил я. — Я собираюсь устроить это дело именно «ради прекрасных глаз», потому что для себя я не ищу тут никаких выгод. Постарайтесь понять меня. Я с детства не знал семьи, и, когда я увидел вашу Адель, мне показалось, будто Бог послал мне сестренку. Да она и сама чувствует это: вы заметили, что она по собственному почину называет меня братишкой. Так вот, говоря об «условиях», я имел в виду только свою богоданную

сестренку. Я устрою вам это дело, но от этого должна выиграть Адель.

— Господи, да я и так, кажется, всю душу...

— Да, да, мадам Гюс, я верю, что вы очень любите Адель, но это не мешает ей ходить в синяках от ваших побоев. Поглядите только, на что она похожа...

— Ах, месье Гаспар, да разве я бью ее! Это нужда ее бьет.

— Ну, так я хочу, чтобы нужда больше не была ее. Как вы не понимаете, что вы этим действуете против своих же собственных интересов! Ведь так недолго и изуродовать ребенка. Кроме того, я не хочу, чтобы Адель жила в такой развращающей обстановке. Вы доказали мне, что кроме сцены ей иного пути нет. Пусть будет так. Но я хочу, чтобы она вышла на подмостки как можно более вооруженной. Я буду заниматься с ней, постараюсь развить ее. Но вы должны дать мне честное слово, что мешать мне в этом не будете. У вас теперь есть маленький заработок, от Дюперье я постараюсь взять сразу сумму за несколько лет. Вы должны устроиться поприличнее и не посылать девочку, например, в кабаки за вином...

— Но я и сама буду счастлива устроиться так, милый месье! Об этом и говорить нечего: я сама не враг своему ребенку. Только не верится мне что-то:

как это вы ухитритесь вытянуть деньги у скареда Дюперье, если законно сделать это нельзя?

— Я сейчас объясню вам это. Мне известно, что Дюперье женился шесть месяцев тому назад и что жена держит его в ежовых рукавицах. Так вот, если Дюперье откажется исполнить свое обязательство, я пригрожу ему судом. Я, дескать, вызову свидетелей, которые должны будут выяснить, по чьей вине нарушено счастье Дюперье и Клерон. Конечно, если возбудить такой процесс, то суд все равно в иске откажет, но Дюперье не рискнет скандалом, который неизбежно возникает в подобном случае. Вот, пользуясь щекотливым положением купца, я и заставлю его купить у меня его маклерскую запись, а ценою будет десятилетняя пенсия вам, то есть полторы тысячи ливров.

Как раз когда я объяснял это, вернулась Адель. Мы сели за стол, и ужин прошел очень весело благодаря радостному настроению, охватившему мать и дочь при зароненной мною надежде на получение денег.

Я рассчитал совершенно верно: Дюперье испугался скандала и вручил мне полторы тысячи ливров в обмен на компрометирующий его документ. С разрешения старухи Гюс и по совету дяди я пристроил эти деньги под верное обеспечение и хорошие проценты, так что Гюс

могла иметь около двухсот ливров ежегодно. Должность заведующей уборными вместе со случайными доходами давала Розе тоже около двухсот ливров. Таким образом у нее было до четырехсот ливров в год, а на такую сумму в те времена можно было жить хотя и скромно, но чисто и без нужды. И было решено, что Гюс подыщет себе другую квартиру.

Совсем близко, в переулочке, нашлась хорошенькая квартирка, но она была слишком дорога для Гюс. И однажды старуха сказала мне:

— Послушайте, месье Гаспар, а почему бы вам не поселиться у нас?

От неожиданности я растерялся: во мне пробудились самые противоречивые чувства. Конечно, жить в семье, где за тобой и приберут, и присмотрят... не быть таким одиноким, заброшенным... Но, с другой стороны, жить под одной кровлей с этими женщинами, которые так дико, так предосудительно смотрят на жизнь и вопросы морали! Мне, воспитаннику аббата Дюпре, дышать этой атмосферой греха!

А старуха продолжала:

— Мы дадим вам угловую комнату: она светлая и веселая. Вам будет хорошо у нас, не придется возиться со скверными ресторанными обедами. И возьму я с вас недорого! Зато как хорошо нам будет иметь возле себя такого



честного, милого человека, на которого можно всегда положиться! И за Адель я буду рада...

Упоминание об Адели еще более увеличило мое смятение. Жить рядом с ней, вечно чувствовать на себе ее обаяние!.. Я невольно посмотрел на девушку, скользнул взглядом по ее гибкой, змеиной фигурке, по тонкому, бледному личику с алым чувственным ртом, по спутанным прядям ее золотистых кос и почувствовал, что нечто большее, чем простая братская привязанность, притягивает меня к этому созданию!

Все внутри меня запротестовало при одной мысли о возможности каких-либо иных чувств к Адели.

«Это — сумасшествие, этого не может быть! — с отчаянием думал я. — Я сам создаю себе какие-то дурацкие опасения! Но, раз они имеются, тем более должен я быть осторожен и ни в коем случае не принимать этого предложения!»

Видя мое колебание, Адель встала, подошла ко мне, положила мне на плечи руки и, слегка прижимаясь и заглядывая мне в глаза, сказала тоном балованного ребенка:

— Да ну же, братишка, не упрямясь, право тебе будет хорошо у нас! Ну, согласен? Ведь да?

Дрожь пробежала по всему моему телу от этого прикосновения, взгляда, голоса... Я хотел

решительно отказаться, но губы сами собой сказали:

— Да, согласен!

Благодаря Сесиль я познал сладость греха — теперь я был уже беззащитен против чар женского влияния.

Так случилось, что я поселился у Гюс, так я сделал первый шаг навстречу своей гибели...

## Глава 2

До сих пор я описывал историю своего знакомства с Аделаидой Гюс, основываясь на своих личных переживаниях и ощущениях. Вернее будет сказать, что я дал историю своих внутренних переживаний, которых в предыдущей главе больше, чем событий и действий. Но это было необходимо для того, чтобы читатель мог возможно яснее представить себе, что я представлял собой как личность, так как трагизм моей судьбы не в каких-либо особых бедствиях, а в явном несоответствии моей жизни с моей нравственной позицией. Но в дальнейшем повествовании я должен отказаться от психологических деталей. Они только утомят и отвлекут внимание читателя, так как тот, кто уяснил себе из предшествующей главы мой облик, тот и без всяких патетических выкриков поймет,

как должен был я бесконечно страдать, играя навязанную собственной неосторожностью унижительную роль. Поэтому ограничусь кратким обзором своих отношений к обеим Гюс и беглой характеристикой юного Гаспара Лебефа.

Теперь, на склоне своих девяноста двух лет, я могу беспристрастно судить о себе в прошлом. И вижу, что и в восемнадцать-девятнадцать лет я все еще был милым, наивным мальчиком, чувствительным, добрым и неглупым. У меня были очень привязчивая душа, страшная брезгливость ко всему неопрятному и бесчестному, но излишняя мягкость и склонность к фантазированию заставляли быстро подыскивать извинительные мотивы для действий тех лиц, к которым я был привязан. Поэтому, несмотря на первоначальную антипатию к старухе Гюс, я очень быстро примирился с ней и даже стал относиться к ней с любовью.

С одной стороны мне было хорошо у них жить, за мной ухаживали, добросовестно кормили, и благодаря тому, что я не был уже таким бесприютным, как прежде, меня реже тянуло на улицу. А это дало мне возможность увеличить свои сбережения, которые я инстинктивно держал втайне от Гюс — матери и дочери. Но если физически я выигрывал от жизни у старухи, то морально не мог не пострадать. Мало-помалу я

заражался тонким ядом философии нищеты, которую исповедовала старуха и которая все сводила к неизбежности падения и невозможности жизни по заветам Бога в современных условиях. Прежде я возмущался и протестовал, потом начал просто спорить, спокойно, академически; мало-помалу я уступал, сдавался и незаметно для самого себя стал примиряться с взглядами Розы на жизнь, а затем наступило время, когда я уже смог принимать участие в обсуждении того, что еще недавно способно было заставить меня рыдать от отчаяния.

Почти так же обстояли мои дела с Аделью. Иллюзии братских чувств постепенно рассеивались, и настало время, когда я без всякого удивления заметил, что люблю Адель с необузданной страстью. Но когда именно моя симпатия к девочке перешла в страсть к женщине, этого я не мог бы определить. Возможно, что страсть созревала так же незаметно, как незаметно Адель из подростка превратилась в пышную девушку-красавицу.

Адель отлично видела мою любовь и забавлялась тем, что разжигала во мне страсть. Особенно удобными моментами для этих упражнений были наши уроки. Мне удалось настоять, чтобы Адель под моим руководством занялась расширением своих умственных

горизонтов. Сначала она усиленно отвиливала от уроков, но, когда я доказал ей, что образование и умение поговорить «о том о сем» даст ей преимущество перед ее будущими подругами-актрисами, равными ей по красоте и таланту, она быстро согласилась. С писанием, арифметикой и эстетикой дело не пошло: Адель чувствовала непреодолимую ненависть к перу, таблица умножения двузначных чисел казалась ей страшнее китайской грамоты, а эстетика навевала на нее отчаянную зевоту. И до конца своих дней она так и не могла постигнуть, что хотели сказать древние, когда требовали для театральных произведений единства времени, места и действий!

Поэтому наши уроки заключались главным образом в том, что я что-нибудь читал или рассказывал Адели. Я передавал ей содержание величайших классических произведений, и если мне удавалось заинтересовать ее фабулой, то незаметно рассказ сводился к истории или географии тех краев, где разыгрывалась данная трагедия. Таким образом, мне удавалось незаметно обогащать знания Адели. Единственно, что она очень любила, это стихи: к чтению поэзии ее не надо было принуждать, и, чем сентиментальнее и чувствительнее была стихотворная речь, тем жаднее накидывалась на нее Адель. Впоследствии мне пришлось убедиться, что это обычное явление:

женщины дурной жизни и мужчины с склонностью к жестокости очень падки на сентиментальные стишки.

Вот во время этих-то уроков Адель и занималась разжиганием моей страсти. Вдруг придвинется поближе, будто ненарочно тронет ногой, положит пальцы на мою руку. Позднее, развившись в дивно сложенную девушку, Адель нередко старалась устроить так, чтобы попасться мне на глаза в самом откровенном дезабилье. Видимо, ее забавляла сложная игра чувств, отражавшаяся при этом на моем лице. Но, заигрывая со мной, она не позволяла мне ни малейшей нежности, самой допустимой вольности. И когда я бывал около Адели, то чувствовал себя в положении человека, которого с одного бока подмораживают, а с другого — поджаривают.

Так шло время. Адель незаметно хорошела, я незаметно отравлялся ядом циничного отношения к жизни. Наконец наступила пора реальных забот и тревог.

Ради вящего развития несомненного таланта Адели и по причинам чисто тактического свойства Роза вскоре отказалась от занятий с дочерью и только помогала ей готовить уроки, а наставлять в премудростях драматического искусства девочку стала уже немолодая актриса Дюмонкур. Последняя обладала большим талантом и когда-то

гремела, но судьба не послала ей ни красивой наружности, ни распущенности, и, когда свежесть молодости пропала, талантливую актрису стали затирать пикантные бездарности. Дюмонкур была слишком умна, чтобы открыто протестовать против этого; она добровольно отошла в тень и стала довольствоваться скудным жалованьем и редкими ролями, которые перепали на ее долю. Эта скромность была оценена и товарищами, и начальством. Когда же Дюмонкур взяла под свою защиту одну из вновь поступивших актрис, встреченную очень враждебно остальной труппой, а вслед затем эта актриса заняла прочное место в сердце главного интенданта (или, по-теперешнему, директора театра), маркиза Гонто, то новая фаворитка использовала свое влияние для улучшения положения покровительницы. Действительно, с Дюмонкур стали советоваться, ее мнение принималось в расчет при всевозможных театральных переменах. Вот поэтому-то старуха Гюс и решила просить Дюмонкур давать уроки Адели: даже и те гроши, которые могла платить Роза, были подспорьем актрисе, не имевшей побочных доходов, а театральный опыт Дюмонкур и ее влияние у дирекции значительно облегчали Адели возможность попасть в лучшую труппу того времени.

Для того чтобы сговориться об условиях, Роза

пригласила актрису на ужин. Как сейчас помню этот вечер.

Был декабрь, на улице стоял довольно сильный холод, но в парадной комнате квартиры Гюс весело трещал в камине жаркий огонь. Роза хлопотала около стола, стараясь поэффектнее расставить тарелочки с закусками, я сидел около камина, отогревая замерзшие руки, а Адель нервно расхаживала по комнате. Девушка была взволнована, и на все попытки заговорить с нею отвечала резкими колкостями.

В назначенный час у входных дверей послышался стук молотка, и через несколько минут в комнату, в сопровождении выскочившей встречать ее Розы, вошла гостья. Это была женщина лет сорока пяти с открытым добрым лицом и живыми, умными черными глазами. Дюмонкур приветливо обняла Адель, ласково поздоровалась со мной и подошла к камину, чтобы погреться с холода. Поворачиваясь перед огнем, она весело болтала, жалуясь на мороз, на дороговизну жизни, на страшный рост нищеты, но все это говорила удивительно просто; вообще в ней совершенно не чувствовалась актриса.

— Уф! — сказала она наконец, отходя от огня и усаживаясь в кресло. — Вот теперь я согрелась!

— Дорогая мадам, — видимо волнуясь, сказала Роза, — как вы хотите: сначала закусим, а



потом уж вы послушаете мою девочку, или, наоборот, сначала послушаете?

— Прежде чем послушать, мне надо хорошенько посмотреть на нее; может быть, и слушать-то не стоит! — с веселым смехом ответила актриса. — Ну-ка, крошка, подойди ко мне!.. Так! — продолжала она, внимательно посмотрев на Адель и окинув ее пытливым взглядом с ног до головы. — Теперь пройди спокойным шагом в тот угол и обратно... Отлично! Пробегишь теперь!.. Отлично, подойди поближе ко мне! Вот так! Я замахнусь на тебя, а ты сделай вид, будто испугалась. Подойди ко мне, дитя мое, и поцелуй меня: даже если у тебя нет ни капельки таланта, ты будешь иметь успех: ты красива, гибка и изящна! Да, дорогая Роза, — продолжала Дюмонкур, обращаясь к старухе, — для актрисы мало быть талантливой, надо обладать красотой. Возьмите хотя бы меня: моего таланта никто не отрицал, а все же из меня ничего не вышло. Искусство ценит один из сотни, остальные же девяносто девять ценят только женщину... Да, тут уж ничего не поделаешь, крошка! И мало быть красивой с лица: бывают женщины, которые кажутся ангелом небесным, пока сидят, но стоит им сделать два шага, как ангел превращается в неуклюжего медведя. Красивая женщина должна быть изящной во всех проявлениях. Все должно быть у нее

красиво: походка, бег, радость, смех, слезы, ужас, испуг. Ты — счастливица, милочка, так как обладаешь всем, о чем я только что упомянула, и если твои внутренние художественные достоинства составляют хотя бы десятую часть внешних, то я ручаюсь, что ты сделаешь блестящую карьеру! А теперь прочти мне что-нибудь, крошка!

С трудом подавляя волнение, Адель начала читать монолог из «Федры» Расина.

Я слушал, затаив дыханье. Мне казалось, что Адель читает дивно, но, к моему удивлению, актриса, видимо, осталась не очень довольной.

— Недурно, — сказала она, когда Адель кончила и с тревогой уставилась на нее. — Но ты, должно быть, долго учила этот монолог? Ты, что ли, с ней проходила его? — обратилась она к старухе Гюс.

— Кому же, кроме меня, — застенчиво ответила Роза.

— Ну, так по этому я еще не могу судить: как тут разберешь, где учительница, а где ученица? Вот что, крошка: ты знаешь «Заиру» Вольтера?

— Да, — ответила Адель и показала на меня, — мы еще недавно читали ее с братишкой!

— Но ты не учила ее? Нет? Ну, так дай-ка мне книжку. Вот просмотри это место и прочти нам его. Ведь содержание ты помнишь, да? Ну, отлично!